Зернова Олеся Алексеевна



Портрет с кровавым мазком

Олеся Зернова

Портрет с кровавым мазком

«Автор»
2025

Зернова О. А.

Портрет с кровавым мазком / О. А. Зернова — «Автор», 2025

Санкт-Петербург, 1867 год. В роскошном особняке графа Зарницкого при загадочных обстоятельствах умирает его жена, молодая графиня Елизавета Арсеньевна. Официальная версия — разрыв сердца на почве нервного расстройства и навязчивого страха перед призраком первой жены графа. Но чиновник особых поручений Глеб Сергеевич Суровцев видит в ее смерти нечто большее: немой ужас, застывший в глазах покойной, и зловещее багровое пятно, проступившее на ее незаконченном портрете, кричат об убийстве.Расследование погружает Суровцева в тёмные глубины аристократического мира, где понятия «чести мундира», фамильной репутации и государственных интересов ставятся выше человеческой жизни. Под подозрением — каждый обитатель особняка: художник Лыков, безупречный секретарь Глухов, истеричная компаньонка, юная камеристка и сам граф. В чем же настоящая причина смерти молодой графини - это несчастный случай, сердечный приступ, убийство или все же что-то за гранью простого понимания и возможностей этого мира?

© Зернова О. А., 2025
© Автор, 2025

Содержание

Предисловие 5
Глава 1. Мазок раздора 6
Глава 2. Утро в трауре 8
Глава 3. Вопросы в пепле 10
Глава 4. Признание в тени 13
Глава 5. Холод скальпеля 16
Глава 6. Давление «Чести» 19
Глава 7. Тайна Графа 23
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Олеся Зернова
Портрет с кровавым мазком

Предисловие

Дорогой читатель,

Перед вами – не просто история. Это исследование одной из самых мучительных граней человеческого существования, особенно там, где личность скована долгом и знаком принадлежности. Эта книга – о чести мундира и о том, как она порой вступает в жестокое, неразрешимое противоречие с честью собственной, с голосом совести, звучащим глубже любых уставов.

«Честь мундира»… Эти слова отлиты в бронзу традиций, пропитаны кровью предков, выстраданы поколениями. Мундир – это больше, чем одежда. Это клятва. Это братство. Это незыблемая стена, за которой прячется смысл служения, гарантия порядка, сама идея верности. Он дает силу, защиту, принадлежность к чему-то большему, чем ты сам. Он обязывает. Беспрекословно.

Но что происходит, когда приказ, диктуемый этой самой честью мундира, шепчет тебе на ухо нечто, от чего холодеет душа? Когда долг перед системой требует поступиться тем, что ты считаешь единственно верным и человечным по меркам своей собственной, внутренней чести? Когда молчание или действие во имя «общего блага» или «высших интересов» становится предательством самого себя?

Вот в чем суть выбора, о котором эта книга.

Этот выбор – не между черным и белым. Он разворачивается в зыбкой, кроваво-серой зоне, где любое решение – это поражение. И иногда он решает всё и ничего одновременно.

Холодный лик, как мрамор гробовой,
Улыбка – лед, а в зра́чках – черный страх.
Беда скрывается во тьме ночной
И в сердце, в правде, что как нож, остра

Глава 1. Мазок раздора

Петербург, ноябрь 1867 года. Холод, пришедший с Финского залива, впивался в камни Английской набережной ледяными иглами. Особняк графа Зарницкого – тяжеловесное, ампирное здание с колоннами, казавшееся высеченным из серого петербургского тумана – тонул в ранних сумерках. Окна второго этажа, где располагались парадные покои, светились желтым, неровным светом свечей, словно заплывшие глаза.

Внутри, в малой гостиной, царила тишина, натянутая, как струна перед разрывом. Воздух был густ от запаха скипидара, дорогих духов «Вербена» и тлеющих в камине березовых поленьев. Графиня Елизавета Арсеньевна Зарницкая восседала на потертом бархатном кресле, поставленном специально для сеанса перед громоздким мольбертом. Ее красота была ослепительной и тревожной одновременно – золотистые волосы, уложенные по последней парижской моде, высокий, чистый лоб, большие глаза цвета морской глубины, в которых сейчас плескалось раздражение. Платье из палевого шелка с кружевами couleur de poussière[1] подчеркивало ее хрупкость и делало похожей на фарфоровую статуэтку, готовую разбиться.

Художник, Владимир Петрович Лыков, стоял к ней спиной. Его фигура в скромном, но чистом сюртуке казалась еще более угловатой на фоне роскоши гостиной. Он работал с почти яростной сосредоточенностью, его кисть – тонкая колонковая – наносила мазки резко, уверенно, но в движениях чувствовалась дрожь. Не от холода – от напряжения.

– Владимир Петрович, – голос графини прозвучал резко, нарушая тишину. Он был чистым, звонким, но сейчас в нем слышались стальные нотки.

– Вы сегодня пишете, как извозчик, гоняющий клячу по мостовой. Ваша кисть… – она сделала паузу, наслаждаясь эффектом, – она груба. Совершенно лишена изящества. Прямо лыко драть ею, а не портрет писать!

Лыков замер. Спина его напряглась под тонкой тканью сюртука. По скулам, обычно бледным, расползлось нездоровое пятно румянца. Он медленно опустил кисть, не оборачиваясь.

– Виноват, ваше сиятельство. Я… ищу нужный тон. Оттенок вашего настроения сегодня… неуловим. – Голос его звучал глухо.

В проеме двери, затянутом темно-бордовой портьерой с вытканными золотыми орлами, застыла тень. Анфиса Семеновна Благовидова, компаньонка и негласный хранитель фамильных устоев Зарницких, в своем неизменном сером шерстяном платье и кружевном воротничке до подбородка. В руках – потрепанный молитвенник. Ее острый, как шило, взгляд метнулся от вздрагивающих плеч Лыкова к неподвижному профилю графини. В уголках тонких губ застыло неодобрение.

– Настроение? – графиня коротко, беззвучно усмехнулась. – Ищите его в хересе, Владимир Петрович. Или в воспоминаниях о той… как ее… цыганке, что позировала вам на прошлой неделе у Шувалова? Говорят, она обладала весьма… выразительными формами. Не то что ваша покорная слуга.

Лыков резко обернулся. Краска сбежала с его лица, оставив его мертвенно-белым. Глаза, темные и глубокие, вспыхнули обидой и гневом. Пальцы сжали ручку кисти так, что она затрещала.

– Я… – он запнулся, глотнул воздух. – Я не имею привычки обсуждать моделей, ваше сиятельство. Моя задача – запечатлеть красоту. Любую. – Он бросил кисть в старую фаянсовую палитру с грохотом, несоразмерным маленькому предмету. Краски – киноварь, охра, ультрамарин – брызнули.

---

[1] «Цвет пыли»

Из глубины особняка донесся приглушенный, но властный голос графа Арсения Владимировича, требовавшего немедленно секретаря. В дверях гостиной возник Павел Игнатьевич Глухов. Он был безупречен: черный сюртук без единой пылинки, белоснежный крахмальный воротничок, галстук-бабочка завязан с математической точностью. Его лицо – правильное, холодное, с высокими скулами и глазами цвета мокрого асфальта – было непроницаемой маской. Взгляд, тяжелый и оценивающий, медленно скользнул по комнате: замершему Лыкову, бледной графине, сжавшей руки Благовидовой. Поправил и без того безупречный воротничок.

– Графиня, – голос его был тихим, но резал тишину, как нож. – Граф просит вас пожаловать в кабинет. Вопрос о завтрашнем визите к княгине Щербатовой требует вашего… одобрения.

Елизавета Арсеньевна встала резко, почти срывисто. Шелк платья зашелестел.

– Наконец-то! Сеанс окончен, Владимир Петрович. – Она прошла мимо мольберта, не удостоив портрет взглядом. – Оставьте все как есть. Ваши сегодняшние «поиски настроения»… утомили меня донельзя. Дуняша! – Ее голос позвал, резкий и требовательный. – Помоги мне снять это тряпье! Голова трещит, как колокол перед бунтом.

Молодая камеристка, Дарья, тоненькая и незаметная, как мышь, выскользнула из тени за портьерой. Ее большие, всегда испуганные глаза мельком, с немым сочувствием, коснулись Лыкова, прежде чем она поспешила следом за госпожой, шурша жестким ситцевым подолом.

Лыков остался один перед холстом. На нем улыбалась графиня – загадочная, блистательная, неземная. Но в только что прописанных глазах, которые он так старался оживить, застыл необъяснимый страх. За окном снова вспыхнула зарница, осветив на миг призрачным синим светом улыбающееся лицо на портрете и искаженное болью и гневом лицо самого художника. Глухой раскат грома прокатился по невским облакам. Лыков вздрогнул, как от удара, и набросил на портрет грубую холстину, словно саваном.

Ночь не дала покоя, лишь разлад,
Где сердце билось, птицей о прутья́.
Кошмар немой в зрачках застыл навзгляд,
А дождь, как знак струится, не кляня.

Глава 2. Утро в трауре

Ночь не приносила покоя. Графиня Елизавета Арсеньевна ворочалась на широкой кровати под балдахином из итальянского шелка. Сквозь щели тяжелых штор пробивался тусклый свет петербургского утра – серый, водянистый. Голова действительно гудела, как набатный колокол. Воспоминания о вечере, о колком разговоре с графом: он опять завел речь о долгах, о ее «легкомыслии», о сплетнях, которые она, по его мнению, провоцировала, о злобном шипении Благовидовой и особенно о фразе, брошенной Лыкову… Все смешалось в тягостный ком.

Она встала, босыми ногами ступила на холодный узорчатый паркет. Подошла к туалетному столику. В большом зеркале венецианского стекла отразилось бледное лицо с темными кругами под глазами. Красота казалась потускневшей, уязвимой. С отвращением она схватила первую попавшуюся кисточку для бровей – не любимую гладкую костяную, а какую-то с розовой деревянной ручкой, подарок от незначительной приятельницы. Окунула ее во флакон с розовой водой. Влажная кисть скользнула по коже век – холодно, неприятно. Потом она провела ею по бровям – резко, небрежно. «Грубо, как лыко», – пронеслось в голове эхом ее же вчерашних слов. Она швырнула кисть на стол. Она упала на край, скатилась, но не разбилась.

В дверь тихо постучали.

– Барыня? Шоколад принесла… – голос Дуняши, робкий, как всегда.

– Войди! – графиня отмахнулась от зеркала. Она чувствовала странную сухость во рту, легкую тошноту. «Нервы. Одни нервы».

Дуняша вошла, неся на серебряном подносе маленькую фарфоровую чашку с дымящимся густым шоколадом. Поставила на столик у кресла.

– Барыня, вам нездоровится? – спросила она, заметив бледность хозяйки.

– Пустое. Голова. Уйди. Я сама.

Дуняша скользнула назад, как тень. Графиня взяла чашку, сделала глоток. Сладкий, терпкий вкус шоколада, обычно успокаивающий, сегодня показался приторным, противным. Она поставила чашку на блюдце с неловким движением. Край чашки звякнул о блюдце. Еще один глоток. Тошнота усилилась. В глазах заплясали темные точки. Сердце вдруг заколотилось с бешеной силой, как птица в клетке, ударившаяся о прутья. Она вскинула руку, прижала ладонь к груди. Воздуха! Не хватало воздуха! Горло сжал невидимый обруч. Перед глазами поплыли чудовищные, искаженные лица – графа с его вечным укором, Благовидовой с ее злобным шепотом, Глухова с его ледяным взглядом… Лыкова… с ненавистью в глазах…

Она попыталась вдохнуть, но в горле хрипло клокотало. Чашка выпала из ослабевших пальцев, разбилась о ковер с жалобным звоном. Темнота нахлынула, холодная и бездонная. Последнее, что она увидела в зеркале, было свое собственное лицо, искаженное немым, абсолютным ужасом.

* * *

Утро в особняке Зарницких начиналось вяло, как всегда. Горничные тихо перешептывались в коридорах, лакеи начищали медные ручки дверей. В будуаре графини было тихо и душно. Тяжелые шторы были полу задёрнуты, в воздухе витал сладковатый запах пудры, духов и… чего-то тяжелого, нездорового.

Дуняша, вошла неслышно, неся на руках аккуратно отглаженный утренний пеньюар госпожи – легкий, из кремового кашемира. Она осторожно подошла к огромной кровати под шелковым балдахином.

– Барыня? – тихо позвала она. – Проснитесь, солнышко уже высоко… десятый час… – голос ее сорвался на последних словах.

Елизавета Арсеньевна лежала на спине. Одна рука была судорожно прижата к груди, пальцы вцепились в тонкую ткань ночной сорочки, будто пытаясь вырвать оттуда что-то невыносимое. Другая рука бессильно откинулась на шелковое покрывало. Голова неестественно запрокинута на высокую подушку. Рот полуоткрыт. Но самый сильный ужас доставляли глаза. Широко распахнутые, невидящие, полные застывшего, немого ужаса, уставившиеся в потолок. И зрачки – неестественно огромные, черные, как дыры в пустоту, поглощавшие тусклый утренний свет.

– Барыня?! – Дуняша вскрикнула, роняя пеньюар. Она бросилась к кровати, схватила холодную, одеревеневшую руку хозяйки. – Барыня! Очнитесь! Господи! – Ее истошный, полный чистого ужаса крик разорвал утреннюю сонную тишину особняка, как нож полотно.

Первой, задыхаясь, вбежала Анфиса Семеновна Благовидова. Увидев тело, она вскрикнула, коротко и жалко, схватилась обеими руками за грудь и закачалась, как подкошенная. За ней, тяжело дыша, в ночном колпаке и роскошном бархатном халате, ввалился граф Арсений Владимирович. Его надменное лицо стало землисто-серым.

– Лиза? Что… Что случилось? – Он шагнул к кровати, заглянул в застывшие, полные нечеловеческого страха глаза жены и резко отпрянул, будто ударившись о невидимую стену. – Боже правый… Сердце? Доктора! Сию же минуту доктора! Глухов! Где Глухов?!

Павел Игнатьевич Глухов появился в дверях будуара уже полностью одетым, безукоризненным, будто только что сошел с журнальной картинки. Его бесстрастный взгляд, как у следователя, методично обошел сцену: тело, разбитую чашку на ковре, искаженное лицо графини, рыдающую Дуняшу, бледную Благовидову, растерянного графа. Он неспешно достал из жилетного кармана часы на толстой золотой цепочке.

– Девять часов сорок пять минут, ваше сиятельство. Доктор Морозов будет вызван немедленно. Я распоряжусь. – Его голос был ровным, металлическим, лишенным каких-либо интонаций. – Дуняша, отойдите от графини. Не прикасайтесь. Анфиса Семеновна, вам необходимо прилечь. Ваше сиятельство, вам следует одеться. Здесь сыро.

Хаос, вызванный криком Дуняши, стал постепенно сменяться похоронной, холодной организованностью под спокойным, властным взглядом Глухова. Графа, бормочущего что-то невнятное, увели в его покои. Благовидову, бормочущую молитвы и пророчества о «каре небесной», почти вынесли под руки служанки. Дуняша, беззвучно рыдая, съежилась в углу, не отрывая взгляда от своей госпожи, словно завороженная тем ужасом, что застыл в ее глазах.

Глухов остался один. Он подошел к туалетному столику. Его длинные, цепкие пальцы с безупречно чистыми ногтями осторожно, но методично перебирали флакончики с духами, пудреницы, коробочки с румянами, шпильки, гребни. Кисти в фарфоровой подставке… Он взял каждую, осмотрел ручку. Костяная… Деревянная темная… Зеленая… Синяя… Где-то тут должна была быть… Он слегка сдвинул одну из деревянных кистей. Нет, не та. Его взгляд скользнул по поверхности стола, потом вниз, на пол. Ничего. Тогда он подошел к окну, отодвинул тяжелую штору. За стеклом моросил мелкий, противный дождь. Лицо Глухова оставалось каменной маской, лишь в самых глубинах глаз, темных как колодец, мелькнуло что-то быстрое, острое, как взведенный курок.

Холодный дождь – как метроном разлуки,
Холодный взгляд скользит в потоке яда
Искали ложь меж гневом и испугом,
Но ключ таится в капле шоколада.

Глава 3. Вопросы в пепле

Дождь за окном кареты стучал монотонно, как метроном, отсчитывающий секунды до новой неприятности. Глеб Сергеевич Суровцев кутался в поношенную бекешу, но холод пробирал до костей – не столько от промозглого ноября, сколько от предчувствия. Особняк Зарницких, возвышавшийся над Английской набережной, напоминал ему надгробный памятник. «Особые поручения… – язвительно подумал он. – Особый мусор на особой свалке карьеры». История с растратой в Обуховской больнице все еще висела дамокловым мечом. Это дело – последний шанс. Или ловушка.

Глухов встретил его в вестибюле. Безупречный, как манекен из витрины Елисеева.

– Глеб Сергеевич. Тело в будуаре. Доктор Морозов уже завершил предварительный осмотр. Граф не в себе.

– Кто в доме с ночи? – отряхивая капли с треуголки, Суровцев окинул взглядом холл: портреты угрюмых предков, тяжелый дубовый паркет, запах воска и скрытого тления.

– Никто не покидал. Граф выехал в Сенат в семь утра. Художник Лыков – в гостевой. Компаньонка Благовидова, камеристка Дарья…

– Дарья? Та, что нашла?

– Она. В истерике. Анфиса Семеновна дала ей капель.

«Истерика или страх разоблачения?» – мелькнуло у Суровцева.

Будуар встретил их гробовой тишиной. Тело под простыней. Суровцев приблизился, движением привычным, но каждый раз леденящим душу. Откинул ткань.

Глаза. Они смотрели в никуда, широкие, остекленевшие, но не пустые – наполненные до краев немым, окаменевшим ужасом. Зрачки – черные бездны, поглощавшие скупой свет люстры. Не просто смерть. Пытка.

– Ваше благородие… – шепот Дуняши за спиной. Девушка сжимала подол фартука, костяшки белые.

– Как лежала? Детали. – Суровцев не отводил взгляда от трупа.

– Р-рука тут… – она судорожно прижала ладонь к груди. – Сжата… как клещами. А чашка… разбита… когда я вошла…

Суровцев подошел к Дуняше. Его тень, падающая от высокого окна, казалась ей виселицей. На дне чашки, точнее, на том, что от него осталось, виднелись следы напитка. Он поднял, понюхал – шоколад.

– Ты приносила графине шоколад? Когда именно?

– Часа в два… может, в три… – Дуняша едва слышно всхлипнула. – Барыня не спала. Я слышала по шагам и голосу… не могла уснуть. Нервы… как после вечера с графом бывало… Я принесла…

– Сама приготовила? – Голос Суровцева был ровен, он не чувствовал никаких эмоций касаемо этого дела. Слишком монотонный, будто читал присягу.

– Да… – Она кивнула, пряча лицо. – В буфетной на цыпочках… чтоб никого не разбудить. Как всегда… густой, венский, с миндальной эссенцией… и щепоткой красного перца для согрева… – Она вдруг осеклась, будто проговорилась.

– Щепоткой? – Суровцев наклонился, ловя ее взгляд. – Или чем-то еще?

– Нет! Только перец! – Дуняша отшатнулась. – Но… но я капнула валерьянки! Всего капельку! Из барыниной склянки на кухне! Она сама при бессоннице капала… Я хотела помочь! – Слезы хлынули ручьем. – Клянусь, только чтобы успокоилась!

– Ты пробовала этот шоколад? – вопрос врезался как нож.

– Никогда! – В ее глазах вспыхнула искренняя ярость от несправедливого подозрения. – Я знаю свое место! Это святое… барынин ночной шоколад!

– Что было дальше? – Суровцев не отступал.

– Поднесла чашку… Барыня сидела у зеркала… даже не обернулась. Махнула рукой и сослалась на головную боль. У нее бывает… – Дуняша сглотнула ком в горле. – Поставила на столик у кресла… и вышла. Больше не входила. Дверь закрыла. – Она замолчала, билась в рыданиях. – Утром… в десять… вошла… а она… а чашка… разбита на ковре… и барыня…

Суровцев мысленно восстанавливал картину: 2-3 часа ночи: Дуня готовит и приносит шоколад. Графиня выгоняет ее. Ночь: Графиня одна в будуаре. Что произошло? Выпила ли она шоколад? Когда почувствовала недомогание? 10 утра: Дуня находит тело и разбитую чашку.

Ключевой вопрос: Когда чашка разбилась? Сразу ночью? Или утром при падении тела?

Он еще раз взглянул на крупный осколок через платок. На вогнутом дне – густой, почти черный осадок. Шоколад не просто пролит – он засох. Значит, чашка разбилась не утром, а ночью или на рассвете, когда напиток был еще жидким или теплым!

– Этот шоколад… – Суровцев повернулся к Глухову, голос звучал как приговор. – И всё в буфетной: плита, кастрюля, ложки, упаковка какао, склянка валерьянки, ситечко – опечатать. Горничных, дежуривших в коридоре – установить, видела ли кто Дарью или других у буфетной после трех ночи. Его взгляд вернулся к дрожащей девушке.

– А вы, Дарья, пойдете со мной. Нам нужно выяснить, что еще, кроме валерьянки, могло попасть в эту чашку… и почему ваша барыня разбила ее до рассвета.

В дверях возникла Анфиса Семеновна. Ее черное платье сливалось с полумраком, лицо – восковая маска.

– Грех вопрошать сирых! – прошипела она, не глядя на Суровцева. Ее запавшие глаза прилипли к портрету в гостиной, едва видному из будуара. Холстина сползла, открыв лицо графини – и багровое пятно размером с монету прямо на месте сердца. Оно казалось влажным, пульсирующим в дрожащем свете свечей.

– Видите?! – Благовидова протянула костлявый палец. – Кровь на холсте! Морока! Она явилась вчера… а ныне плоть истлела! Не трогайте сие! Не гневите мертвых! Они и так неспокойны в этот час! Они покарают, вот увидите, покарают вас!!

Суровцев фыркнул:

– Сырость. Или плохой лак.

– Сырость?! – Старуха закачалась, голос взлетел до визга. – Это глаз Проклятия! Вы следующий, чиновник! Следующий! – Ее крик перешел в истерический шепот, прежде чем Глухов увел ее, бормочущую молитвы.

Суровцев подошел к портрету. Пятно… действительно странное. Не просто грязь. Как… запекшаяся капля. Он провел пальцем – поверхность была гладкой, сухой. Но в глубине сознания зашевелился холодный червь сомнения. «Не трогайте сие…».

– Дарья, – он резко обернулся к девушке, поймав ее испуганный взгляд на пятне. – Этот портрет… графиня что-то говорила о нем вчера?

– Н-нет… – Дуняша отвела глаза. – Только… только на художника Владимир Петрович гневалась, что он не справляется, – она заглотила воздух, – даже дорисовать не дала, удалилась на разговор с графом…

Суровцев задумчиво рассматривал пятно «крови» на портрете почившей графини. Он был запущенным реалистом, не верящим ни во что мистическое и даже в Бога. Он точно знал, что этому будет какое-то рациональное объяснение, а если он его и не найдет, то это не подтверждает отсутствие. Призраки существуют только в фантазиях слишком набожных людей, но точно не в графском поместье.

«Суровая правда – лучше милосердия» – его девиз по жизни. Он не знал, как именно это пятно попало на портрет, но знал точно, что никакая мистика не поможет ему закрыть это дело. Он собирался смотреть на факты и только, поэтому еще раз перебрал в голове новые обстоятельства. Обруганный художник и немилостивый граф. История играет новыми красками.

Разрезал ложь, но истина ушла,
Как след в воде кристальной чистоты.
Лишь капля "крови" на холсте светла,
Зовёт науку вскрыть свои черты.

Глава 4. Признание в тени

Кабинет графа, отведенный Суровцеву, дышал холодом подавленных эмоций. На дубовом столе лежала непочатая стопка бумаг – символ дел, которые могли подождать, в отличие от смерти. Дуняша сидела на краю жесткого кресла, ее пальцы с такой силой впились в колени, что костяшки побелели. Казалось, она вот-вот рассыплется в прах под тяжестью взгляда Суровцева.

– Начнем с главного, Дарья, – чиновник отодвинул чернильницу, демонстративно не прикасаясь к перу. – Ночной шоколад. Графиня не просила его. Вы решили приготовить его самостоятельно. Почему?

Вопрос, как удар хлыста, заставил девушку вздрогнуть. Она уже отвечала о своих причинах, и повторный вопрос заставлял ее нервничать и чувствовать себя, как на иголках от чувства недоверия и подозрения со стороны Суровцева. Она еще раз повторила свои слова, волнуясь, что и в этот раз останется под подозрением.

– Я… я слышала… – прошептала она, глядя куда-то в пространство за спиной Суровцева. – Сквозь дверь… Барыня ворочалась. Вздохи… Прерывистые шаги по ковру… Она плохо спала после… после вечера. – Дуняша проглотила ком в горле, не смея назвать причину – гнев графа. – Я знала, что венский шоколад с перцем… он ее успокаивает. Как бывало. Она сама говорила… Я подумала… помогу. Не навредит же…

– Значит, это была исключительно ваша инициатива? – Суровцев подчеркнул слово, заставляя ее съежиться. – Вы вошли в буфетную без приказа. Готовили в одиночестве. Кто мог вас видеть в этот момент?

– Ни-никто… – голос Дуняши прерывался. – Ночь… все спали. Тишина… только часы в холле… – Она вдруг вскинула голову, вспомнив. – Анфиса Семеновна! Она… она вышла из своей комнаты, когда я готовила. Прошла мимо…Увидела меня… спросила: «Барыне?» Я кивнула. Она покачала головой, пробормотала: «Нервы, нервы… Господь в помощь», и ушла. Больше никого!

Суровцев мысленно отметил: Благовидова подтвердит факт ночного приготовления Дуняши, но она не увидела сам процесс приготовления. Девушка была одна у плиты 10-15 минут. Достаточно, чтобы добавить что-то в чашку.

– Опишите все до мелочей, – приказал он, нависая над столом. – Как готовили? Где брали ингредиенты? Сколько чего клали?

Дуняша, запинаясь, поведала о полутемной буфетной: о жестяной банке с венским какао на верхней полке (три ложки), о фарфоровой сахарнице (две ложки), о маленькой фаянсовой баночке без этикетки с красным перцем (щепотка). Склянка с валерьянкой – стояла рядом с какао, желтая наклейка аптеки Бромптона. Она капнула две капли пипеткой прямо в горячий шоколад в чашке, помешала серебряной ложечкой.

– Почему валерьянка? – резко спросил Суровцев.

– Барыня… она сама иногда капала при бессоннице! – Дуняша всплеснула руками. – Я хотела помочь! Искренне! Она бы одобрила! – В ее глазах горели слезы отчаяния и непонятности.

– Вы задержались в будуаре? Видели, как графиня пьет? – Суровцев задал вопрос еще раз, ожидая, что если в первый раз Дуняша солгала, то все станет явным после второго вопроса.

Он слушал, внимательно вслушиваясь в каждое слово и стараясь уловить каждую эмоцию, хоть что-то, малейший вздох или секундную паузу. Но их не последовало, Дуняша отвечала, как и в первый раз.

– Н-нет… – девушка потупилась. – Барыня сидела у зеркала… не обернулась. Я поставила чашку на столик у кресла… и вышла. Больше не входила до утра! Клянусь всеми святыми! – Она перекрестилась дрожащей рукой.

Суровцев встал и медленно прошелся по кабинету. Его тень, отбрасываемая керосиновой лампой, колыхалась на стене, как призрак.

Инициатива Дуняши… Искренняя забота? Или идеальная маскировка для убийства? Она имела доступ, возможность, а мотив… Мотив мог крыться в страхе перед гневом графини за что-то, в тайной обиде или в чьих-то обещаниях. Пока – темный лес.

– Подождите здесь, – бросил он и вышел, оставив ее наедине с гнетущим портретом императора и собственным страхом.

* * *

Буфетная встретила Суровцева запахом старого дерева, воска и слабой сладостью застоявшегося какао. Глухов молча поднес лампу, высвечивая тесное пространство. Суровцев действовал как хирург: каждое движение – точное, осмысленное.

Жестяная банка какао: Суровцев открыл ее, понюхал содержимое – насыщенный шоколадный аромат. Просеял горсть между пальцев – темно-коричневый порошок однородный, без комков, без посторонних вкраплений. Поставил на стол.

Фарфоровая сахарница: Снял крышку. Крупнокристаллический сахар-песок. Проверил ложкой до дна – однородно. Никаких слоев, порошков.

Фаянсовая баночка с перцем: Рыжий порошок, едкий запах при вдыхании. Попробовал микроскопическую щепотку на язык – жгучая острота, характерная для кайенского перца. Ничего необычного.

Склянка валерьянки: Этикетка аптеки Бромптона, срок годности в порядке. Пахло резко, специфически – типичная валерьянка. Суровцев капнул каплю на тыльную сторону ладони – маслянистая жидкость, без осадка.

Медная кастрюлька: Тщательно вымыта, но на внутренних стенках, у самого верха, Суровцев заметил едва различимый темный налет. Не нагар, а скорее…

Плитка и зольник: Холодные. Зола – мелкая, серая, без недогоревших щепок или подозрительных остатков.

Полки и столешница: Протер пальцем – чисто. Ни порошков, ни капель, ни следов спешки или сокрытия.

Чисто. Слишком чисто. Как будто кто-то старательно вымыл все после. Или… яда здесь действительно не было? Суровцев почувствовал раздражение. Шоколадный след таял под пальцами. Слова Дуняши о приготовлении подтверждались каждым пакетиком или баночкой. Она ни раз готовила, могла знать, но более веских обвинений и пришлось ее отпустить. Временно.

* * *

Владимир Петрович Лыков вошел в кабинет, как в клетку к хищнику. Его попытка держаться с достоинством разбилась о нервный тик под левым глазом и слишком частые движения рук – то поправить галстук, то смахнуть невидимую пылинку с рукава сюртука, который, несмотря на чистоту, выглядел чуть поношенным по плечам и локтям.

– Глеб Сергеевич, – начал он с натянутой легкостью, садясь без приглашения, – надеюсь, это не займет много времени? Я должен работать над заказом для князя Юсупова, свет не стоит на месте… Моя семья…

– Ваша семья, несомненно, ценит ваше усердие, – нейтрально парировал Суровцев, садясь напротив. – Поговорим о портрете графини. Вы накрыли его холстиной после послед-

него сеанса. Внимательно ли осмотрели холст перед этим? Заметили ли что-то… необычное? Особенно в области сердца?

Лыков на мгновение замер. Его пальцы непроизвольно сжали подлокотники кресла.

– Необычное? – он изобразил легкое недоумение. – Нет… Эскизный слой, подмалевок… Все было в порядке. Я тщательно проверил – ни пылинки, ни мазка мимо. Холстину натягивал аккуратно, чтобы не касаться влажных участков. – Он говорил чуть быстрее обычного, словно отрепетированную речь.

– Никаких пятен? – настаивал Суровцев, не отрывая взгляда. – Темных разводов? Как будто от сырости или… капли чего-то?

– Пятен? – Лыков резко вскинул голову. Его глаза расширились, в них мелькнул искренний испуг. – Нет! Клянусь, не было! Я бы заметил! Я – профессионал! – Он вскочил, начал нервно расхаживать по кабинету. – Что за пятно? Где? Покажите! Это… это катастрофа! Портрет испорчен? Кто мог…? Сырость? Но в гостиной сухо! Или… – он вдруг остановился, повернулся к Суровцеву, и в его взгляде появилось что-то близкое к панике. – Вы не думаете… что это… она? – Он не назвал имя графини, но его шепот был красноречивее крика. – Ее дух… неспокойный? Говорят, перед смертью она видела…

Он не договорил, схватившись за голову. Весь его аристократический лоск испарился, обнажив человека на грани срыва. Он боялся не столько пятна, сколько того, что оно означало – крах репутации, насмешки заказчиков, разоблачение его тщательно скрываемой непринадлежности к миру, где портреты пишут для Юсуповых.

– «Неспокойный дух»… – Суровцев повторил его слова задумчиво. – Анфиса Семеновна уверяет, что это «глаз Проклятия». А вы, как человек искусства, не находите странным, что пятно появилось именно после вашего ухода и перед ее смертью? И именно там, где сердце? – Он сделал паузу, давая страху Лыкова прорасти. – Как будто сам холст почувствовал то, что скрывалось за улыбкой графини… или за мазками художника.

Лыков побледнел так, что губы стали синими. Фраза «скрывалось за мазками художника» попала точно в цель. Его трясущейся рукой он схватился за спинку кресла, будто ища опоры.

– Я… я не понимаю ваших намеков! – голос его сорвался, потеряв все признаки «хорошего тона». – Я рисую то, что вижу! А не… не потусторонние знаки! Это кошмар! Позвольте мне уйти! Я не вынесу еще минуты в этом доме смерти! – Он не дождался ответа, пошатнулся к двери, с трудом нашел ручку и вывалился в коридор, оставив после себя запах дешевого одеколона и витающий в воздухе страх разоблачения.

Суровцев остался один. Тиканье напольных часов в углу казалось громче пушечных выстрелов. Шоколадный след завел в чистый тупик. Дуняша напугана, ее алиби хрупкое, но явных улик против нее нет. Лыков… Его реакция на пятно была слишком истеричной для просто испорченной картины. Он боялся не пятна, а того, что стояло за ним – краха иллюзий о своем месте в мире. И его панический шепот о «духе» графини висел в воздухе, смешиваясь с истеричными пророчествами Благовидовой.

Чиновник подошел к окну. Дождь хлестал по стеклу, превращая Петербург в размытую акварель. Особняк Зарницких был похож на заколдованную шкатулку: красивая снаружи, полная ядовитых тайн внутри. Пятно на портрете, загадочное и пугающее, казалось единственной реальной зацепкой. Но как его разгадать? Ему нужен был не следователь, не экстрасенс, а ученый. Ему нужен был доктор Морозов и его пробирки.

Прервался бал. Холодный склеп – приют.
В глазах застыл предсмертный крик.
Наука – факты, не былой уют
Но крик тот в сердце колышком проник.

Глава 5. Холод скальпеля

Холод. Не тот, что сковывает улицы Петербурга в предрассветной мгле, а иной – стерильный, проникающий в кости, несущий въедливый запах карболки и чего-то невыразимо тяжелого, сладковато-медного. Губернский морг. Само место казалось кощунством для Елизаветы Арсеньевны Зарницкой. Глеб Сергеевич Суровцев стоял у каменного стола, втянув голову в плечи, будто стараясь стать меньше, незаметнее для этой убогой обстановки и для того, что на столе лежало под грубым холстом.

Как она сюда попала? – билось в висках. Кто решил, что графиню, урожденную княжну, следует везти сюда, в это заведение для нищих и неопознанных? Глухов? Сам граф? «Ради чести мундира» – выставить смерть жены на всеобщее обозрение в казенном морге?

Рядом с ним, ловко орудуя инструментами, двигался доктор Морозов Григорий Александрович, судебно-медицинский эксперт. Человек с лицом аскета и горящими, почти фанатичным блеском глазами ученого, для которого социальный статус трупа мерк перед тайной причины смерти. Его помощник, бледный юноша, держал металлический поднос. Атмосфера была гнетущей, лишенной даже намека на уважение, подобающее усопшей такого ранга.

– Приступим, Глеб Сергеевич? – голос Морозова был сух, деловит и лишен всякого пиетета. Суровцев кивнул, сжав челюсти. Он должен был видеть это. Должен был знать. Здесь, в этом проклятом месте, где стены впитали стоны безымянных.

Холст откинули. Елизавета Арсеньевна Зарницкая была неузнаваема и… неуместна. Великолепная графиня, чья красота еще вчера ослепляла в бальных залах, теперь лежала на холодном камне казенного стола. Без роскоши платья, без блеска драгоценностей – только трагическая хрупкость и мертвенная бледность, подчеркнутая резким, безжалостным светом керосиновых ламп. Контраст между ее былой славой и этим убогим местом сжимал сердце Суровцева ледяной рукой.

Морозов начал с внешнего осмотра. Его пальцы, ловкие и уверенные, скользили по холодной коже без тени благоговения, лишь фиксируя факты.

– Видимых повреждений, кроме характерного для падения синяка на виске от удара о пол… Ссадины на ладони правой руки – вероятно, пыталась удержаться, падая… Ногти… Интересно.

Суровцев наклонился, преодолевая отвращение к месту и холодный прагматизм процедуры. На ногтях левой руки графини, обычно безупречных, виднелись едва заметные заусенцы, крошечные царапины. Будто она в последний момент отчаянно царапала что-то… воздух? Свою одежду? Столик для шоколада?

«Боролась?» – пронеслось в голове Суровцева. С чем? С кем? С невидимым удушьем? Вопреки "тихому" сердечному приступу?

Доктор Морозов перешел к глазам. Он будто и не замечал столь изуродованного гримасой ужаса лица графини. Аккуратно раздвинул веки. Суровцев невольно затаил дыхание.

– Зрачки… – пробормотал Морозов. Он взял мощную лупу, пристально вгляделся. – Сужены… Значительно. До точки. И… посмотрите, Глеб Сергеевич. Спазм цилиарной мышцы. Видите эту неестественную застылость? Как будто в момент смерти их сковало, зафиксировало в этом положении.

Спазм зрачков. Суровцев впивал в себя каждое слово. Это не укладывалось в картину простого, пусть и внезапного, сердечного приступа. Сердце могло остановиться от страха, от боли… но чтобы зрачки так реагировали? Это был механический признак, не психологический.

Методично, с леденящей душу точностью, Морозов провел вскрытие. Вскрыл грудную клетку, извлек органы. Воздух наполнился новыми, тяжелыми запахами, смешиваясь с запа-

хом казенщины. Помощник едва сдерживал тошноту. Суровцев, стиснув зубы, наблюдал, отсекая эмоции. Его взгляд сканера фиксировал каждую деталь: цвет тканей, состояние сосудов, содержимое желудка. Здесь, среди этого ужаса, кроется ответ.

–Желудок… – Морозов аккуратно извлек орган, разрезал. – Содержимое… Частично переваренная пища… и… ага. Шоколад. Значительное количество. С характерным запахом.

Суровцев мысленно вернулся в будуар: изысканная разбитая чашка, лужица засохшего шоколада на персидском ковре. Дуняша: «Я добавила валерьянку…» Но валерьянка не объясняла этот жуткий спазм зрачков.

Морозов тщательно осматривал сердце. Оно выглядело… удивительно нормальным для женщины ее лет и нервного склада. Ни явных признаков износа, ни разрыва, ни тромба, который можно было бы сразу обнаружить.

– Сердечная мышца… Нет признаков острого инфаркта. Нет выраженной гипертрофии, которая могла бы предрасполагать к внезапной остановке… Странно.

Он щупал плотную ткань, делал срезы.

– Есть небольшой спазм коронарных артерий… но не критичный. Не то чтобы это не могло вызвать остановку, особенно на фоне сильного нервного потрясения, но… само по себе сердце выглядит крепче, чем я ожидал у дамы с репутацией… нервной особы.

Он взглянул на Суровцева, и в его глазах мелькнуло что-то, кроме холодного факта – тень профессионального недоумения.

– Хм. Нервы. – Морозов произнес это без особой убежденности. Он продолжил исследовать мозг, легкие, печень. Все казалось в относительном порядке, если не считать общего стрессового состояния организма. Никаких явных патологий, которые кричали бы об убийстве. Ничего, кроме этих застывших, точечных зрачков и странного ощущения, что сердце просто… замерло.

Наконец, Морозов отложил инструменты. Он вытер руки о грубое полотенце, его лицо было замкнутым.

– Формально, Глеб Сергеевич, причина смерти – острая сердечная недостаточность. Остановка сердца. – Он сделал паузу, видя, как Суровцев напрягся, ожидая «но». – Но…

– Но? – Суровцев шагнул ближе. Вот оно.

– Но обстоятельства… Эти зрачки. Этот спазм. Он нетипичен для простого нервного срыва, ведущего к остановке сердца. И отсутствие явных, грубых патологий самого сердца, которые бы непременно привели к такому мгновенному финалу… Это оставляет вопросы. Возможно, сильнейший нейрогенный спазм, спровоцировавший фатальную аритмию? На фоне хронического нервного истощения? Валерьянка в шоколаде могла быть попыткой успокоить, но в такой дозе она безвредна. Скорее, плацебо.

Морозов вздохнул, его взгляд скользнул по холодным стенам морга.

– Официальное заключение будет гласить: смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вероятно, спровоцированной тяжелым нервно-психическим потрясением. На фоне общего астенического состояния. Этого достаточно для закрытия дела. – В его тоне прозвучала окончательность чиновника, исполнившего долг.

Суровцев молчал. Формально – все сходилось. Нервы, истерия, испуг – сердечный приступ. Дело можно и нужно закрывать. Как того требовал Глухов «ради чести мундира». Как, вероятно, желал граф, отправив жену в этот морг. Но…

– Спазм зрачков, Григорий Александрович… Он может быть связан с чем-то… кроме нервного шока? С чем-то конкретным?

Морозов нахмурился, его аскетичное лицо стало жестче.

– Теоретически… да. Некоторые алкалоиды, яды растительного происхождения, могут вызывать именно такой эффект – резкое сужение зрачков до точки, паралич аккомодации. Белена, дурман… тетризол. Но, Глеб Сергеевич, – он подчеркнуто ткнул пальцем в сторону

стола, – где доказательства? Следы в организме? Желудочное содержимое – шоколад, вчерашний ужин. Ничего криминального. Кровь… современные методы не позволяют надежно вычленить такие ничтожные дозы алкалоидов. Вскрытие не показало характерных макроскопических поражений органов. Где основания для таких подозрений? Одних зрачков и вашего… ощущения – мало. Меньше чем мало.

– Основания – это зрачки, которые кричат о насилии. И ощущение, что все здесь – ложь, – тихо, но твердо сказал Суровцев, глядя не на Морозова, а на безжизненное лицо графини, так чудовищно не принадлежавшее этому месту. Он вспомнил испуганные глаза Дуняши, нервные руки Лыкова, маслянистый взгляд Глухова и его слова о «чести мундира».

– Ощущение – не улика. Зрачки – не протокол, – холодно отрезал Морозов, снимая окровавленный фартук.

– Я могу лишь зафиксировать то, что вижу и могу доказать по существующим правилам. А вижу я остановку сердца, усугубленную нервным потрясением. Заключение будет написано. – Он посмотрел на Суровцева без сочувствия, но с пониманием профессионального тупика.

– Если у вас появятся конкретные подозрения, назовете конкретное вещество… тогда, возможно, можно будет провести узконаправленные тесты. Но для этого нужен образец яда для сравнения. Пока же – это лишь ваша интуиция против фактов и процедур.

Суровцев кивнул. Факты. Процедуры. Официальная версия. Удобная, чистая, не воняющая скандалом и не требующая объяснений, почему графиня оказалась в губернском морге. «Честь мундира». Он бросил последний взгляд на Елизавету Арсеньевну. На ее неестественно застывшие, суженные в булавочные головки зрачки, которые, казалось, все еще хранили отражение последнего ужаса и немой вопрос. И на крошечный, едва заметный комочек чего-то белесого, похожего на воск, прилипший к рукаву халата доктора Морозова, когда тот наклонялся над столом, извлекая желудок.

Благодарю вас, Григорий Александрович, – глухо сказал Суровцев, резко разворачиваясь к выходу. Холод морга и гнетущая атмосфера казенщины въелись в него глубже промозглого питерского тумана. Официальная версия гласила: сердце.

Но в его собственном сердце засело ледяное, неоспоримое знание: сердце остановилось. Но что его заставило остановиться? Этот вопрос теперь горел в нем ярче ламп в этом жутком подвале. И ответ не лежал на анатомическом столе губернского морга. Он был спрятан в особняке на Английской набережной, среди шелка, лжи, фамильного тщеславия. Формально дело можно было закрыть. Но Глеб Сергеевич Суровцев знал – он только начал его по-настоящему расследовать. Зрачки не лгали. Они кричали об убийстве. И он услышал этот крик. Сквозь запах карболки и лжи. Ему необходимо было восстановить репутацию после прошлого скандала. Оставалось надеяться, что это не приведет к еще большим разбирательствам.

Исчез предмет – мал золотник, да ве́сом
Формальный траур. Дело – закрывать.
Мольбы забыть, не рваться за прогрессом
А честь свою мундиру молча сдать

Глава 6. Давление «Чести»

Холод губернского морга, въевшийся в кости, казалось, преследовал Глеба Сергеевича Суровцева и в роскошных покоях особняка Зарницких. Формальный траур – черные драпировки на зеркалах, приглушенные голоса слуг – лишь подчеркивал гнетущую атмосферу тайны. Заключение Морозова висело в воздухе удобным, но душным покрывалом. Суровцев знал: под ним скрывалось иное. Зрачки не лгут.

Он снова стоял в будуаре Елизаветы Арсеньевны. Комната, залитая бледным светом северного дня, казалась застывшей во времени. Разбитая чашка убрана, пятно шоколада старательно вычищено с ковра, но ощущение нарушения покоя, насилия над привычным укладом витало в каждом уголке. Он начал методично, как часовой механизм, осматривать все заново, сверяя с первыми впечатлениями и прокручивая в голове слова Морозова: «тетризол… Доказательств нет…».

– Дарья, – позвал он тихо, заметив камеристку, робко жавшуюся у портьеры. Она вздрогнула, словно очнувшись от тяжелого сна. Ее глаза были красны и опухли от слез.

– Подойди. Помоги мне вспомнить. Как все было до…случившегося? Где все стояло?

Девушка, покорная и испуганная, подошла, нервно теребя фартук. Она начала указывать дрожащим пальцем:

– Барыня сидела тут… У столика… Шоколад стоял здесь… Платочек ее был вот тут, на спинке кресла… Пудреница и флаконы – на туалетном…

Ее взгляд скользил по знакомым предметам, словно ища в них утешения.

Суровцев подошел к изящному туалетному столику из карельской березы. Серебряные флаконы с духами, фарфоровая пудреница, щеточки для волос, коробочка с румянами… Все стояло на своих местах с почти музейной аккуратностью.

– Точно ничего не пропало? – он обернулся, стараясь говорить мягко.

Лицо девушки отразило искреннее недоумение. Она подошла ближе, вглядываясь в поверхность столика, потом оглядела пол вокруг, заглянула за флаконы.

– Кисть… – прошептала она. – Она… она всегда лежала вот тут, рядом с розовой водой. Серебряный ободок… – Ее глаза расширились от внезапного осознания. – Ее… ее нет! Пропала!

– Ты уверена? Может, убрала сама? В суматохе?

– Нет, барин! – в голосе Дуняши прозвучала почти мольба. – Я не трогала! Ночью… когда я зашла с шоколадом, она лежала тут, а сейчас нет! Кисть не трогала! Куда она делась? – Паника нарастала в ее глазах. Пропажа маленького предмета в этой комнате смерти казалась ей зловещим знаком.

Пропала. Слово ударило Суровцева с новой силой. После зрачков, после намека на яд – это была первая вещественная аномалия. Кисть. Розовая маленькая кисть. Зачем? Мысль билась, как птица о стекло. Украдена? Выброшена? Или… использована?

Он начал обыск с удвоенной тщательностью, уже не как следователь, фиксирующий обстановку, а как охотник, ищущий спрятанную добычу. Он заглянул под кушетку, отодвинул тяжелые портьеры, проверил складки ковра. Ничего. Выдвинул ящики туалетного столика – там лежали перчатки, ленты, несколько писем в шелковых конвертах. Ни следа кисти. Он подошел к камину. Зола была неглубока, аккуратно разровнена кочергой. Он осторожно разгреб ее кончиком трости – лишь мелкие угольки, пепел, ни намека на обгоревший металл или ткань. Ничего. Он заглянул в стоящую в углу изящную корзину для бумаг – лишь смятые листы нотной бумаги и обрывки кружева. Кисти не было.

Его шаги снова привели его к мольберту. Портрет. Прекрасное, гордое лицо Елизаветы Арсеньевны, запечатленное кистью Лыкова. И это пятно. На складке платья, ровно на уровне

сердца. Рыжевато-коричневое, как запекшаяся кровь, или… как проступившая сквозь лак ржавчина? Оно казалось сегодня живее, глубже в полумраке комнаты. Суровцев

В ушах неожиданно прозвучал истеричный шепот Анфисы Благовидовой: «Кара! Это знак!»

Холодок суеверного страха, иррациональный и древний, пополз по спине Суровцева. Он, чиновник особых поручений, воспитанный на логике и науке, вдруг почувствовал чужое присутствие в углу комнаты. Тень. Холодное дуновение.

Неужели? Мир рациональных объяснений пошатнулся. Он почти увидел бледное лицо первой графини Зарницкой в полутьме, почти услышал ее предсмертный стон… Рука его непроизвольно потянулась к месту, где обычно у людей висит крест. У него не было. На мгновение вера в необъяснимое, в потустороннюю месть, показалась единственным ответом. Кисть пропала по воле призрака. Пятно – его печать. Смерть – его кара.

Он резко отшатнулся от портрета, с силой потерев лоб.

Нет! Глупость! – прогнать навязчивую мысль. Доктор Морозов говорил о яде. О тетризоле. О зрачках. Кисть пропала не по воле призрака. Ее убрал человек. Тот, кто боялся, что она что-то выдаст. Что она – улика. Но как связана кисть для глаз со смертью от яда? Могла ли кисть быть… инструментом? Носителем? Мысль была смутной, но упорной.

– Нашли что-нибудь утешительное, Глеб Сергеевич? Или призраков ловите? – гладкий, как полированное дерево, голос раздался у двери.

Суровцев обернулся. В дверях, залитый мрачным светом коридора, стоял Павел Игнатьевич Глухов. На рукаве его строгого сюртука алел траурный креп, но лицо оставалось бесстрастным, а глаза – холодными и оценивающими. Он вошел бесшумно.

– Осматриваю место, Павел Игнатьевич, – ответил Суровцев, стараясь скрыть внутреннюю бурю. – Рутинная процедура.

– Рутина… – Глухов кивнул, его взгляд скользнул по комнате, мимоходом отметив перевернутые Суровцевым подушки на кушетке, и остановился на испуганной Дуняше.

– Печальная необходимость. Особенно когда дело, по сути, ясно. – Он сделал шаг вперед, понизив голос до доверительного тона, в котором, однако, звенела стальная нотка. – Доктор Морозов подтвердил печальный, но очевидный диагноз? Слабость женского сердца, усугубленная нервным расстройством. Светская дама… впечатлительная натура… призраки… – он развел руками с видом смирения перед волей Божьей. – Трагедия, но не загадка.

– Доктор Морозов изложил факты, – парировал Суровцев, чувствуя, как нарастает раздражение.

– Факты, Глеб Сергеевич, факты, – подхватил Глухов, кивая с подчеркнутой значительностью. – И они не оставляют сомнений в естественной причине кончины. Продолжение же этих… изысканий… – он кивнул в сторону мольберта с портретом, – …это не просто бесплодная трата времени. Это – вред.

– Вред? – Суровцев поднял бровь.

– Репутации. Чести семьи, – Глухов выдержал паузу, давая словам осесть. – Представьте: слухи поползут по городу: Графиня умерла при странных обстоятельствах! Вскрытие в морге! Допросы! Обыски в будуаре! Это же пища для самой гнусной молвы. Для Его Сиятельства графа – удар по достоинству и положению. Для памяти покойной – кощунство. Ее и так… судачили из-за нервозности. Теперь скажут – Бог покарал? Сошла с ума? Умерла от страха? – Он покачал головой, изображая скорбь, но взгляд оставался острым.

– Честь мундира Его Сиятельства, честь древней фамилии… требуют достойного завершения этого горя. Не раздувания грязного скандала на пустом месте. Не тревожения праха.

Давление было почти физическим. Глухов говорил убедительно, апеллируя к самым консервативным устоям – долгу, сословной чести, приличиям. Суровцев понимал: формально секретарь прав. Заключение врача – формальное основание закрыть дело. Пропавшая кисть? Ее

могла убрать сама Дуняша в суматохе, испугавшись или просто не заметив. Пятно на портрете – суеверие невежественной компаньонки. Все сходилось к тихому, благопристойному финалу.

Но… зрачки. Спазм. Исчезнувшая кисть. И это пятно, которое теперь, после мистического всплеска, виделось Суровцеву не знамением, а возможной… химической реакцией? Намеком на что-то очень земное?

– Вы предлагаете прекратить расследование? – спросил Суровцев прямо, глядя Глухову в глаза.

– Предлагаю? – Глухов мягко улыбнулся. – Я лишь высказываю мнение, продиктованное заботой о моих патронах и… государственным интересом. Граф – фигура заметная. Скандал в его семье – пятно на репутации не только его, но и определенных… кругов в столице. Не стоит сеять смуту, Глеб Сергеевич. Особенно когда для нее нет разумных оснований. – Он сделал шаг назад к двери. – Подумайте. Документы о прекращении следствия я готов завизировать незамедлительно. Ради спокойствия всех. – Его взгляд скользнул по Дуняше, замершей у стены. – И ради спокойствия вот таких малых сих, которых ваши расспросы лишь терзают.

Неглубокий, но исполненный скрытого превосходства поклон – и Глухов исчез в коридоре, оставив после себя тягостное молчание и запах дорогого табака.

Суровцев стоял неподвижно. Слова Глухова – честь мундира, государственный интерес, спокойствие – висели в воздухе, густые и удушающие. Дуняша смотрела на него глазами затравленного зверька. Портрет графини казался теперь не мистическим символом, а немым укором. А в памяти жгло воспоминание о суженных зрачках.

Он подошел к окну, глядя на мрачный, затянутый туманом двор. Закрыть дело? Поставить точку? Уважить просьбу секретаря влиятельного графа? Сохранить карьеру? Это был бы разумный, правильный поступок.

Но тогда… Кто заставил сердце графини остановиться? Куда делась розовая кисть? И что скрывало это темнеющее пятно на холсте?

Глеб Сергеевич Суровцев резко повернулся от окна. Его лицо было каменной маской, но в глазах горел упрямый огонь.

– Дарья, – сказал он тихо, но так, что девушка вздрогнула. – Ступай. Но запомни: о пропаже кисти – ни слова. Ни единого слова. Слышишь?

– С-слышу, барин, – прошептала она и, шаркнув ножкой, выскользнула из комнаты.

Суровцев остался один. Он подошел к мольберту. К пятну. Смотрел на него теперь не как на знак потустороннего, а как ученый на аномалию. Что ты? Краска? Лак? Или… реакция? – мысленно спрашивал он. Его взгляд упал на камин. На аккуратно разровненную золу. Кисть… Если не сожгли здесь… то где? И главное – зачем?

Честь мундира требовала отступить. Но честь следователя, честь перед Правдой – требовала идти вперед. Даже если путь лежал через суеверия, пропавшие кисти и непроницаемое лицо секретаря, чьи глаза были глухи не только к совести, но, казалось, и к самой смерти.

Суровцев достал из кармана сюртука записную книжку и остро отточенный карандаш. Он открыл ее на чистой странице и вывел твердым почерком:

«Кисть розовая – ПРОПАЛА. Осмотр: нет нигде. Дуняша не брала.»

Ниже, подчеркивая:

«Пятно на портрете. Мистика? Хим. реакция?»

И еще ниже, сжато:

«Глухов: Настоят. требует ЗАКРЫТЬ ДЕЛО. «Честь мундира». Давление.»

Он захлопнул книжку. Дело не было закрыто. Оно лишь ушло в тень. А первой вещественной уликой в нем стало отсутствие. Отсутствие маленькой, никому не нужной, кроме убийцы, розовой кисточки для глаз.

Величье пало. Слезы льёт тиран.

Его честь – тлен, обманчива и зыбка.
Душа вопит и рвётся на таран
Зовёт на бой с убийцею улыбка

Глава 7. Тайна Графа

Кабинет графа Арсения Владимировича Зарницкого дышал холодным величием. Темные дубовые панели, портреты суровых предков в золоченых рамах, тяжелые бархатные портьеры – все говорило о многовековом роде и непоколебимом статусе. Сам граф стоял у камина, спиной к Суровцеву, рассматривая языки пламени. Его фигура в строгом черном сюртуке была прямой, но в напряженной линии плеч читалась усталость, а рука, сжимавшая бронзовую щипцовую рукоять, была слишком белой.

– Глеб Сергеевич, – голос графа прозвучал глухо, без обертонов, когда Суровцев вошел и замолчал у порога. – Вы настойчивы. Как буриданов осел между двумя стогами сена. Один стог – долг службы. Другой – здравый смысл. Или… приличия? – Он медленно обернулся. Его лицо было бледным, с глубокими тенями под глазами, но взгляд – острым и недобрым.

– Мой секретарь, Глухов, уже изложил вам нашу общую позицию. Дело закрыто. Заключение врача – исчерпывающе. Что еще вам нужно? Увековечить горе семьи?

Суровцев сделал шаг вперед, ощущая тяжесть взгляда графа и холодный гнев, витавший в воздухе. Он не стал упоминать Глухова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.